

МЕЖДУ ДВУМЯ
УДАРАМИ СЕРДЦА

начало

(зачеркнуто)

Яна шла по улицам, узнавая и не узнавая
город сохранил только самое необходимое
тополиный пух, трещины на асфальте, волейбольные площадки и трамвайные линии
крыльцо без ступенек
двойные рамы, горшки с геранью, банки-пепельницы
я могла бы остаться жить прямо здесь, на лестнице
(все правильно, но кого это интересует)

(зачеркнуто)

Тетка ничего не выбрасывала — боялась совсем лишиться памяти. Теперь это — «выморочное имущество», а я — наследник второй очереди.

(нет, так нельзя)

В доме пусто и чисто. В шкафчиках продукты, которые не испортятся.

Крупа. Сахар. Соль.

Тетя Поля позаботилась обо всем необходимым, а сама из деликатности ушла.

Странно, такое ощущение, будто в квартире еще кто-то живет. И если бы не сверхъестественная чистота...

(Ну начинается. И вновь я посетил... Ностальгические упражнения.

В конце концов она приезжает в город с утилитарной целью — оформить наследство, продать квартиру. Решение принято, какие могут быть сантименты прямо сразу, с поезда?

Какие, какие — самые обыкновенные. Она возвращается в дом, где прошло ее детство — по-твоему, она первым делом должна заняться описью имущества?

Ладно, не кипятись. Просто я не хочу возвращаться.

Так бы сразу и сказала. Тогда не пиши об этом. Пиши о чем-нибудь другом. Вон у тебя статейка лежит. Начала и бросила, все сроки прошли. Начальство голову оторвет.

Не оторвет. Не впервой.

Тогда поехали. Дубль два.)

На третий день хождения по присутственным местам Яна встретила Верочку.

Когда-то Верочка была зеленой выпускницей педвуза, и у нее на уроках творился полный беспредел — детки-старшеклассники орали, бросались бумажками, а на задних партах всюду распивали пиво. Однако почему-то даже Витька Кидяев, имевший в отделении милиции постоянную прописку, знал, кому посвящено стихотворение «Во глубине сибирских руд». Я досиживала у нее до темноты, и мама говорила... Я, пожалуй, не буду цитировать то, что она говорила. Ничего особенного — все мамы это рано или поздно говорят взрослым дочерям.

А ты знаешь, он до сих пор бывает у меня. Не сердись, но я отдала ему твои письма.

Давай сделаем так — вы придете ко мне завтра, часиков в пять. Мой адрес еще не забыла? Ему я сама позвоню, на тебя надежды мало, сказала она уже из автобуса. Возражения не принимаются.

Потом вот что:

«Она просила не приходить».

*Все, сдаюсь. Повествование окончено. Я должна была попасть в контекст, и я в него попала. Здесь, как ни начни, все будет мимо. Потому что в этой истории существова-
ственно только то, что не сказано, а место и время действия могут быть любыми. Это обстоятельство делает нас немного ненастоящими, как будто мы стали легче, или честнее, или выше ростом, но в остальном все совпадает до мелочей, даже имена.*

Думаю, у меня не получится, но все же давай попробуем. Что могут поведать друг другу так называемые взрослые люди, семейные или не очень, после пятнадцати или двадцати лет несовершеннового времени? Не знаю и знать не хочу. На встречу одноклассников я бы не пошла и расспрашивать Верочку тоже не стала бы. Только случайность, вот как сегодня

я стояла в растерянности на остановке, понимая, что мне не оставили выбора

в двух шагах от твоего дома

и надо было всего лишь перейти на другую сторону

что я и сделала и нисколько не сожалею

больше ни одной фразы оттуда

между этими способами жить нет никаких других

она просила не приходить

Яна открыла дверь.

— Зайди на минутку, я сейчас, мне нужно только...

— Я тебе не сказал... В общем, Верочка просила не приходить.

Твердость, с которой он это произнес. Пятнадцать лет назад ничего подобного.

— Не стой в дверях.

Что-то я сегодня туго соображаю. Кажется, Верочка решила устроить нам романтическое свидание. Молодцы ребята, спелись.

Яна застегивала тоненькие ремешки босоножек. В прихожей было темно, на вешалке — теткино пальто, беретик с огуречным хвостиком, хозяйственная сумка, связка ключей. Ремешки не слушались. У него есть замечательный шанс упасть на колени. Какие глупости лезут в голову, это от неловкости.

Стоит, как чучело медведя. С подносом. На подносе мелочь и ключи. Что мне теперь с ним делать.

— Нет, пакет не надо, тут для Верочки. И зонтик тоже. Можно, я отдам тебе ключи? У меня нет карманов, не люблю карманы.

— Если ты не боишься, что я потеряю. Я все теряю. На лекциях постоянно теряю нить и посему приходится читать по бумажке. Чтобы не сказать лишнего. А студенты думают, что я выжил из ума. Весьма вероятно.

— Да, я слышала, что ты преподаешь. Защитился?

— Нет, не защитился и не вижу в этом особой нужды. Извини, я невообразимо скучный субъект. Не умею развлекать барышень. Тебе скоро надоест.

— Не надо так уж себя демонизировать. И развлекать меня тоже не надо.

А почему ты думала, что будет иначе? Что вообще должно было произойти?

Возьмешь его под руку, как делала раньше, когда была маленькой, а хотелось непременно большой,

храбрилась, после уроков ехала через весь город к одинокому, злому, красивому десантнику, который ставил железный чайник и показывал армейский альбом, и все это ради

того, чтобы проводить тебя до автобуса. Наверное, призывал своих небесных покровителей — держи дистанцию — чтобы она вернулась домой к маме такой же, чтобы даже мысли не возникло.

Как бы мне сейчасгодились армейские штаны, иди рядом руки в карманы и насвистывать.

Куда пойдём?

— Не сердись на Верочку. Она несчастная, жаль ее. И, как все несчастные, заботится об окружающих, занимается обустройством их судеб. Ты ее прости, но она мне все рассказала. Я и подумать не мог... Принесла письма и оставила меня одного на кухне. Я все прочитал.

Нет, ты не все прочитал. Письма к тебе я выбросила на помойку ясным днем первого апреля, хотела пошутить. А то, что ты прочел, были письма к Верочке. Две большие разницы, как говорят в Одессе.

— И что?

— И ничего. Верочка вернулась, и я помогал ей чистить картошку, потом свеклу, потом морковь, она варила борщ. Потом пришел ее муж-идиот, и я ретировался.

— Да, у нее вкусный борщ.

— Послушай, если ты думаешь...

— Ничего я не думаю.

— Видишь, ты уже пожалела. Я не лучше Верочкиного мужа. Идиот, который все понимает, но ничего не может изменить.

Тебя обманули, и вот все раскрылось. Письма на помойке, вывалившиеся из пакета, и сверху зелеными чернилами «я сегодня снова ела снег, хотя ты мне запретил». А потом, наверное, пришел чей-то муж с ведром и вывалил сверху

очистки — сначала картошку, потом свеклу, потом морковь, все оттенки красного, как те шторы на окнах, за которыми свет, три окна в ряд, а чуть пониже — я, все еще стою и ем снег, хотя ты мне запретил.

- Значит, когда я уехала, ты занял мое место возле борща.
- Я ел Верочкин борщ, еще когда мы учились в школе.

Яна остановилась. Это нелепое перемещение по городу, словно они задались целью обойти все достопримечательности. Вокруг да около.

- Однако. И что же?
- Ничего. Я ничего не знал. Ты можешь мне не верить. Почему-то она рассказала только сейчас.

Постановка двадцатилетней давности. Левка рисовал декорации в учительской, исполнители учили текст, премьеры через две недели. Мы с И. прогуливались туда-сюда среди искусственных деревьев на фоне беседки в стиле ампира. Верочка изо всех сил тянула этот дохлый номер. Чего она хотела добиться, заставляя нас произносить признания и ходить под руку взад и вперед? Видимо, мы оба были бездарны, и она сдалась, Онегина сыграл Владик, а Татьяну — не помню кто, и мы не сказали друг другу ни слова.

— Потому что я приехала три дня назад и встретила ее на улице. Как было не поставить точку в этом деле.

Учительский автоматизм. Ошибки нужно исправлять красной ручкой.

Впрочем, относительно Онегина Верочка была права. Мрачный красавец чайльд-гарольд, угрюмый-томный. На берегу каких-то волн стоял он дум великих полн. Уже в начальной школе изъяснялся на чистейшем русском языке середины девятнадцатого века. На уроке истории рассказы-

вал про смерть Марата, и на его белой рубашке расплывалось кровавое пятно.

- Яна, если бы я знал...
- Впервые по имени.

Тогда в парке на качелях. Я не спросила как тебя зовут и потом никогда не называла как надо. Мы сбежали, пока они осматривали памятник вечному огню. Перекладина между деревьями, солнце по верхушкам, и он осторожно словно от этого зависит все на свете

качели с высоким ходом
достать мыском туфельки до неба — выше ели — в голове детская песенка, в парке из рупора — другая
нас уже ищут сбились с ног — ты новенькая? — нет, он не спросил, это потом оказалось, что я новенькая и он чуть позади меня на третьей парте а я на второй

мрачная красота ельник
уже тогда я видела, что он не как все
что с только с ним
что в его руках веревки ночь
в траве намокший билетик на троллейбус
нам еще возвращаться обратно
нас ищут и пусть ищут
пусть думают что угодно

— Беспредметный разговор. Давай вернемся.
Яна уже подсчитывала, сколько она сможет продержаться до перекрестка направо.

Там было бы логично расстаться. И больше не вспоминать ни о зеленых чернилах, ни о борще. Как все это глупо. Яростная нелепица. Неужели никто нас не развяжет.

- Пойдем ко мне. Я один, все уехали.

Тогда в парке я в первый и последний раз видела тебя без этой страдальческой гримасы.

Что там, у тебя дома? Кабинет доктора Калигари?

- А что теперь на том месте, где были качели?
- Качели?
- И еще гипсовая пионерка с пионером и горном.
- Табачный киоск.

«Киоск». Нет чтобы сказать как люди — «ларек». И дым отечества... и любовь к родному пепелищу... Не надо было ехать. В Москве сейчас не сезон, метро ходит полупустое, ночью запах кофе, соседи не спят, никто не спит, жара.

- Ты куришь?
- Если тебе неприятно, не буду.

А говорил, что не умеет барышень развлекать. Помнишь про качели, как мило.

— Право, ты напрасно обиделась. Ты тоже многого не знаешь. Например, что я бывал у твоей тетки.

Ты дружишь со всеми одинокими и несчастными тетеньками, а они дружат с тобой. Конечно, ведь ты умеешь чистить картошку и напоминаешь им романтический идеал наших прабабушек. Бледное (тогда говорили — вдохновенное) лицо, презрительная мина, черные злые глаза, черные локоны (ошибочка вышла, с локонами в нашей школе делать нечего, обреют налысо), белая рубашка а-ля байрон на адриатическом взморье, незастегнутые манжеты (точно, и пуговицы оторваны, какая приманка для одинокой хозяйки), распахнутый ворот там, где должен быть след от выстрела, и слабый дымок, и запах пороха, я его чувствовала, сидя рядом с тобой на уроке литературы. Верочка рассказывала о поручике Лермонтове, убитом на дуэли, но никто не заметил, что у окна, возле горш-

ка с геранями его прототип играет сам с собой в крестик-нолики, а под партой у него томик Блока.

Боль, вот что притягивает одиноких женщин, дорогая моя флоренс найтингейл, мой цветок, мой милый друг, лилия полевая, ведь и ты ничем не лучше, ты тоже ищешь запах пороха, и карманы твоих армейских штанов полны корпии, гарпия

ты тоже несмотря на все заверения любовь к джойсу кофе-эспрессо и кензо недалеко ушла в своих грезах от этого образа-медальона на груди на форзаце могильном памятнике.

Он никогда не скрывал, что ему больно, и теперь не скрывает. А ты играешь в оскорбленное женское достоинство.

- Ты живешь там же, на Гоголя? Три окна в ряд?
- Да.
- Давай сначала купим мороженого.

минус пятнадцать

Дальнее крыло школы было темным, двор тоже не освещался. Синий снег, черные деревья, вдалеке каток, ледяная лунка, щербатая луна, с десяток хоккеистов носятся по ней, не встречая сопротивления среды. Новогодний мороз, поэтому все стало синим, а завтра здесь будет тихо и солнечно, в каждом доме спят, и она.

Спят медведи и слоны / дяди спят и тё-о-ти / все вокруг / спать должны...

Когда ее поймали на очередном опоздании ко второму уроку, она сказала — я проспала, разве это не уважительная причина? Роза майская. Я слышал, она говорила, что смотрит на нас в бинокль, когда мы сидим на уроке, потому что окна ее комнаты выходят прямо на школу («мое персональное memento mori»). Бинокль папин, родители на работе,

младшая сестра в школе, а она в постели, читает — чтобы она могла читать? — допустим, «Трех мушкетеров». Книга жизнерадостная и безмозглая, но совершенно необходимая для полноценного развития. Лежать неудобно, потому что постель в крошках от печенья. В щели между матрасом и кроватью полно фантиков. Иногда она вылезает из-под одеяла и смотрит на нас — если народу много, то все обойдется, а если половина класса отсутствует, надо идти, как бы не нагорело.

Кто ее спрашивал про бинокль. *Я не такая, я вся другая.* Я вот хожу на историю и ничего. И на физкультуру. Не комильфотничаю (неправда ваша, дяденька, а кто третьего дня Шпенглера цитировал?). Согласился в ее дурацком капустнике участвовать — разумеется, чтобы не отрываться от коллектива. Я же командный игрок. Взять хотя бы футбол. Ой, врешь, ну что ты сегодня целый день врешь. *Волнение в крови, да-с.*

И что они там так долго. О чем, интересно, говорят. Уж не о тебе ли. Тоже мне нашелся предмет. Могу поклясться, однако, что обсуждают они не бессмертную русскую литературу. Это не означает, что они обсуждают тебя. Ну да. Ну вот и стой себе, мерзни.

Сказать-то по большому счету нечего. *Я вас люблю.* А любовь еще быть может ... еще как может... представляю себе, как она может взглядом подарить, наша кармен из десятого бэ. Приспичило им с Верочкой именно сейчас затеять какой-то архиважный разговор. Другого времени не нашли. За три года не обговорили.

Почему у Верочки все такое бедное? Шторы бледные, цветы чахлые, мел не пишет. Голос не учительский. Я на третьей парте, а мне уже не слышно. Плачет по ней старый ве-

ницейский мастер — мадонна лагрима, где-нибудь в темной капелле, стены с прозеленью, кругом вода и из воды свечки торчат — тоненькие. *Ваши руки пахнут ладаном.* Дураки, они думают, что я влюбился в Верочку. Хотя со стороны, наверное, оно так и выглядит, я — вечный дежурный в кабинете литературы с ведром и тряпкой, а на днях меня Нефедова застучала с авоськой и понимающе улыбнулась. А что бы ты понимала, милая. Ведь никто ей не поможет, и я не хочу, а деваться некуда.

Яна, кстати говоря, не большой любитель мытья полов. Это я понял, когда Верочка стала нам совместные дежурства организовывать, чтобы, *такскасть*, создать известную степень напряженности поля путем сближения противоположных по знаку зарядов (или одноименных?). Физичка плачет от умиления. Аплодисменты.

Я встречу ее у входа, там же никого нет, темно, и двор защищен от ветра, двор защищен, там можно сказать все что угодно. И эхо. Возьму у нее из рук — что у нее там в руках, портфель? — да ну тебя, она ж не первоклашка. Сколько раз я себе это представлял и почему-то всегда без слов. Долго не выходят. А вдруг их сторож запер — подумал, что все ушли? Ну а ты как избавитель на белом коне, конь бледный. В пальто.

Сегодняшний странный сон

я оказался в комнате, наполненной туманом, попытался нащупать стены и не смог. Голос тонул в свечении, расплывался, как масляная пленка, сияющая на солнце, слова фосфоресцировали и отрывались от моих губ, как пузырьки воздуха, и меня больше не было, потому что не было ни слов, ни необходимости говорить, ни того, кто мог бы меня услышать. Я всегда знал, что там ничего нет. Проснувшись, я подумал, что и вправду умер, может быть, не впервые. Солнце вошло в комнату, было холодно, было свежо.

Да уж, не меньше, чем минус пятнадцать. Так можно и в самом деле окочуриться. Пойти что ли узнать, открыта ли дверь. Шутки шутками, а что если их заперли?

Хоккеисты прошли мимо, страшные в темноте, как воины тьмы с шестами. У одного на шлеме болтался чингисхановский хвост. Хорьки. Иван обошел школу кругом. В окне у дежурного горел свет. «А Вера Александровна — ушла, ушла. Давно уже. Опять свет не погасила, а мне теперь на четвертый этаж идти, ох ноженьки мои. Сходи, сходи».

Нет там никого. На доске мелом какая-то сложноподчиненная муть, в партах огрызки, бумажки, окна заклеены, школа тихая, неузнаваемая. Обрато в полной темноте по лестнице, окна дома напротив, как волшебный фонарь. Черт тебя побери со своим сочувствием. Остаться что ли здесь, на подоконнике. Кто-то до меня, может быть десять лет назад, нацарапал обычное *я тебя люблю* а имя поставьте сами. *Яна. Яна.*

лестница

— В детстве мороженое съедалось слишком быстро. Капало, правда, точно так же. Я говорю ерунду, да?

— И пальцы облизываешь.

— Ну и что.

Поднимаюсь по этой лестнице впервые. Странно. Почему мне тогда не приходило в голову, скажем, позвонить в дверь и убежать. Тоже акция.

— Извини, у меня не убрало.

Мой старый театральный приятель Гриша Перец рассказывал, как массовка имитирует закадровый шум. Каждый

статист повторяет одну и ту же фразу: что говорить, когда нечего говорить.

— Я открою окно?

Идиот. Предложи ей чаю, что ли. Или семейный альбом. И еще спроси, не замужем ли она. Кстати, интересно. Кстати, не очень.

Комната разночинца — узкая железная кровать, разошедшийся стул, книги в чернильных пятнах, затрепанные — ты читала Тойнби? — а впрочем... Разговор из обрывков, стрелка к молчанию, оно повсюду, мы — случайный узор, песчинки, волна подходит и отступает, остаются ниточки, водоросли, начинается дождь, а у меня даже нет зонтика, чтобы предложить его тебе. — Но я пока не собираюсь домой. — Извини. Тебе, наверное, скучно. — Ты хочешь меня выпроводить? — Нет. Я просто не умею себя вести. И я это уже говорил.

— Про Левку ничего не слышала?

— Нет, а что?

— Да так, ничего. Женился на своей первой жене во второй раз.

— А.

Черт, что я несу.

— Он теперь большой человек. Архитектор.

— А Сашка маленький — летает?

— Летает. Еще как. Звезду дали.

— Здорово.

— Пащенко сидит в местной палате лордов. Носит на видном месте депутатский значок. Раздулся до невозможности. Еле в телевизор влезает.

— Знаешь, я никогда не воспринимала твои сентенции всерьез. Ты хочешь казаться злее, чем есть на самом деле. Твое вечное ворчание и т. д.

Однако. Какой домашний тон. Как будто мы уже год пьем чай в этой квартире.

Мое молчание всерьез. Меньше всего хочется болтать, это раз. Два: определенно я должен что-то сказать (что именно?). Между двумя крайностями — солнечный день, во дворе мальчишки гоняют мяч, лето как лето, как всегда у нас, на юге.

— Даже когда ты встал и заявил, что Пащенко не может представлять школу на районной олимпиаде, потому что он полагает, что логарифм это что-то зоологическое, разновидность жирафа, а производная бывает только в чайнике.

— Я так сказал?

— Да.

— Ужас.

— Вот именно. Павлик Морозов.

— Да нет, стиль. И к тому же ты не знаешь контекста. Аида затирала Левку и проталкивала Пащенко. Тогда модно было играть в демократию и обсуждать все на людях, коллективом, так сказать. Я и воспользовался, как мог. Несколько цветисто. Ну да ладно.

— А зачем было топить Пащенко? Он конечно козел, но ты тоже не лучше.

— Спасибо. А затем, что причиной, по которой более способный Левка, коему позарез нужна была олимпиада для поступления в вуз, был затерт — пресловутый пятый пункт.

— Не может быть! А Левка он что... того, этого...

— Ох, святая простота... Кстати, ты же с Левкой, кажется, была дружна...

— Только без намеков, пожалуйста.

— И не думал.

— Знаешь, у нас в общежитии висел плакатик с цитатами, мне особенно нравилась вот эта: «Было бы ошибкой думать... В. И. Ленин».

— Шуточка с бородой.

— И поменьше сарказма.

— Стараюсь.

Он старается меня поддеть. Переводит стрелки, чтобы не говорить о другом. Бьет рикошетом. Богатая тема — школьная жизнь. Кажется, что ты очень смелый, говоришь и делаешь то, чего нельзя.

— А где твои?

— В отпуске до конца лета. Я один.

Один, как тогда на футбольном поле, ржавое ограждение, ворота-турник, лужи. Круг, еще один, вязкий песок, секундомер на мокром нейлоновом шнурке. Ты пробежишь, гад, еще, как минимум, два круга, первое полугодие и второе, несмотря на досадный металлический привкус во рту. Тебе нужно тренировать свою злость, вцепись зубами в поводок и тяни на себя, тяни и не тывкай, пока не окажешься на свободе. Я считаю дни.

Школа, пес ее подери. Каждый день по семь уроков мужества, ха-ха. Все отсиженное мною уходит в никуда, проваливается в мокрый песок. Битое стекло, тряпки, бычки, это и есть наш культурный слой. А она принимает все за чистую монету. Слушает раскрыв рот. Первый урок — Онегин как лишний человек. Второй — Печорин как еще более лишний. Невозможность жить и чувствовать в условиях. В волосах сияние чистой воды, сосновый остров, рыжая хвоя. Третий — Аида бесшумно двигает челюстями, как огромная щука, логарифм есть показатель степени, я совершенно оглох к этой музыке сфер, стою, не шевелясь, в мутной воде и вижу медленно расходящийся след от лодки на две стороны, опускается весло, видны щели между досками, обросшее днище, нас ищут, нас не найдут.

* * *

разливами рек
по всей ширине
ветер беспрепятственно
равнинами идет раскатами
дальними грозами
пригибая к земле

сила без обхвата
алая бесконечная
цепью залегает трава
все распорото
высыпано в ветер
расстреляно

злая молодость
раскуривает свой табак
бросает за спину
гаснет в бурьяне
пятиконечной звездочкой
упавшей шапкой
буденовкой

где-то в памяти
зацепилось
уцелело

лодочкой
дрожит блесна
заплаканная монетка

ниже по течению
едва различим в вечернем тумане
солнечный плес

твоя комната

Действительно, не убрано. В холодильнике чисто, медицинская бутылка молока, три редиски, банка горошка.

— Мама уехала неделю назад. Котлеты я выбросил сразу, я их не ем. Чай так себе. Если хочешь, есть хороший кофе.

— Ты умеешь варить кофе, здорово. А я — нет.
— Попробуй сначала.

Попробуем. Раньше ты был призраком, а теперь у тебя есть холодильник. Родители, судя по фотографии, тоже имеются. На вид типичные шестидесятники, волейбол, коньки, лыжи, наверное, байдарки.

— Ты действительно хочешь знать? Ничего особенного, семья инженеров. У тебя, можно подумать, иначе.

— И все-таки.

— Изволь. Папаша до всего дошел своим умом, потому и ценит в людях только ум. Курильщик, махорочник. Неприятный был человек.

— Он что... умер?

— Да нет, жив, что ему сделается. Братец в него. Отдельного упоминания не стоит.

Помнится, нам приходилось туго, донашивали одежду друг за другом, ели мало и плохо и все такое прочее. Ты как раз уехала в Москву. Те два года, когда все выживали как могли, помнишь? Так вот, я не мог себя заставить. Носил студенческий пиджак отца. Не люблю его, а все лучше, чем с Мишенькиного плеча.

— А сестра?

— Марина тоже инженер, не знаю какой. Там на вешалке ее пальто, нравится? Нет. И ей, наверное, тоже не нравится или она привыкла. Или никогда не замечала.

Что еще сказать? Некрасивая, живет бедно, трое детей, муж у нее добрый, но бесхарактерный.

— Что ты понимаешь в красоте. Про маму ничего не сказал.

— Про маму... Мать положила жизнь за детей. Обшивала, обстирывала, ночей, как говорится, не спала. С утра в очередях, работа во вторую смену, домой возвращалась поздно, жарила котлеты. Я просыпался от запаха жареного, накрывался с головой, не помогало. Работает учительницей в школе, вот уже сорок лет с такими уродами, как... Ну да ладно.

— Грустно. А у нас говорили, что твоя бабка «из бывших», институт благородных девиц, муж белый офицер.

— Это мой прадед, его расстреляли в начале 1918 года. Тогда всех под одну гребенку. А он, между прочим, политзаключенный был, подпольщик. Моя прабабка про него никогда не рассказывала, даже детям. Наверное, это было опасно. Но все-таки странно, что и пятьдесят лет спустя...

— Откуда же ты узнал?

— Оттуда. Однажды она подозвала меня, стала говорить, что скоро помрет, а завещания нет. Не дают написать, все хотят к рукам прибрать, кухаркины дети. Она уже была совсем сумасшедшая, с постели не вставала. Попросила достать из-под матраса фотографии. Я их видел единственный раз, куда они потом подевались, не знаю. Офицер был. Впрочем, я помню только усы. Банально. Пожилая женщина в черном платье с белым воротничком. Двухэтажный деревянный дом с вывеской. Еще один мальчик с тросточкой и собакой. Все. Ни имен, ни дат. Чужая жизнь.

— А дети?

— Дети. Выжил только старший сын, остальные — кто во время войны, кто после. В нашей семье дед — самый здоровый персонаж. Байки любил, до девяноста лет как огурец. А папаша не в него. Но тоже проживет будь здоров.

И это правильно. И не смотри на меня так. Почему тебя интересует, не понимаю. Генеалогическое древо составить хочешь? Уже составили, у папаши в столе лежит. Твой кофе.

— А мои родители далеко.

— Где же.

— В Лозанне. Папа получил приглашение, работает в ЦЕРНе. Давно уже там. А я не смогла.

— Почему?

— Не знаю. Дура, наверное. Не поеду и все. Мама плакала и утешилась. Я у них бываю часто, раз в год. Проездом. Вернее, пролетом.

— Откуда куда.

— Маршрут номер один. Рим—Флоренция—Венеция. Пицца, голуби, развалины. Посмотрите налево, посмотрите направо.

История одной зимы. Высота снежного покрова до 50 сантиметров — такого не помнят даже *старые хроники*, сказала телеведущая. Море начало замерзать, и у берега плавают неправдоподобный лед, похожий на пенопластовый реквизит. Десятый класс в дни каникул свозили в Ялту *посмотреть на лед*. Где-то я уже читала об этом, о нас с тобой столько всего написано. Вот, например, история про мальчика с осколком в сердце. *Город с черепичными крышами и геранями на балконах*. Крыши все больше шиферные, но герани, дикий виноград, узкие улочки — имеются, а городской розарий не хуже, чем в Никитском ботаническом саду. *Путешествие в Лапландию*. Мои попутчики, соседи по купе — парочка москвичей, рассказывающих небылицы вчерашней школьнице-провинциалке. Ваше лицо мне определено знакомо — я не мог Вас видеть на вечеринке у Бори Мессерера? — я зачем-то приврала, что живу в Москве, и потом всю дорогу опасалась, что меня выведут на чистую воду. Мичман ЧФ, желающий осмотреть столицу. Ты не

думай, я ведь, если что (если что?), с самыми серьезными намерениями, не какой-нибудь там — полгода по загранкам, денег куры не клюют, будешь как куколка, у меня вся портовая фарца вот где (показывает кулак, внушительно, на правой руке кольцо). *Юные король и королева*. Сеня с Ленкой, актерская богема, бесконечные разговоры о Фассбиндере. Помнится, накануне сочинения я долго искала экзаменационный лист под столом, на котором храпел Коля Татарский, Сенин однокурсник и вечный дублер (но ведь нашла же, нашла!). *Карета с кучером в Венском лесу*. Бедная девушка, на втором курсе едва не выскочила замуж. Вовремя осталась с разбитым сердцем. *Разбойничий вертеп*. Общежитские попойки по поводу и без. Наконец, *чертог Снежной королевы*.

Ох и дала мне прикурить Збарская. Челочка-каре, чернобурка, папироска, разговоры по пути к метро: «Вы никогда не напишете толковой работы, пока не выучите итальянский — и латынь, дорогая моя, латынь, и не надо морщиться». Квартира на Чистых прудах, на кухне — Родченко в огромных стеклянных квадратах («папе подарили на семидесятилетие»), в гостиной — Малевич (язык не повернулся спросить, подлинник или копия, хотя копия Малевича — дело нехитрое).

«Дорогая моя, скажите спасибо, если с вашей профессией вас просто возьмут замуж. Или непросто. На нашем отделении готовят не искусствоведов (а вы как думали?), а жен дипломатических работников. На что еще вы могли бы сгодиться? Преподавать? И не мечтайте. До вас очередь дойдет лет через сто пятьдесят. Считайте сами. По традиции из университета выносят только вперед ногами. На место завкафедрой претендуют три первых зама, на место зама — пять вторых и так далее в геометрической прогрессии. Пищевая цепь, экологическая, так сказать, пирамида.

И все друг друга едят. Кроме того, я далеко не убеждена в том, что вы исправно посещали лекции. Уровень вашей подготовки оставляет желать лучшего. Никакие так называемые способности не компенсируют безделья. Короче говоря, я не буду хлопотать за вас перед деканом».

Хлопоты и в самом деле не помогли. Зато получилось с «Италия-тревэл». Может быть, оно и к лучшему. Какой из меня преподаватель. Збарская позвонила своей подруге, и теперь я круглый год летаю до Рима и обратно, чтобы водить по городу вконец обалдевших туристов, отвечать на дурацкие вопросы («а это правда, что в банях мылись вместе... ну, мужики с бабами?»), следить, чтобы из очередной энотеки группа вышла без потерь, переводить в сувенирной лавке нечто вроде «а нет ли такого же, но без крыльев», и в оставшееся время бессмысленно мечтать о билете в один конец и о маленькой комнатке возле пьядца Навона.

- Романтично. Натурализоваться не думала?
- Нет.
- Выйти замуж за настоящего брюнета?
- Сам ты брюнет.

Ни одного седого волоса. В детстве был маленький старичок, в старости будет вечнозеленым мальчиком. Женится на студентке, изведет одну, потом другую. Их же пруд пруди, никто и не заметит. Надо посмотреть, что у него там, в другой комнате. Семь жен синей бороды. Студентки такое любят, хлебом не корми — чтобы было brutally, интеллектуально и эксклюзивно. Это тебе не Рим — Флоренция номер один.

- А там что?
- Балкон. Не ходи, шею сломаешь. Он завален рухлядью.

- Куда же мне ходить?
- Посиди здесь, я кое-что принесу.

Издание восемнадцатого века, сохранность хорошая, в переплете из тисненой кожи. Переплет новый, конец девятнадцатого. Имеется подпись владельца. Я выяснял — был такой Разумовский, поляк, не тот, что при Екатерине и т.д.

Сюжет, конечно, типовой. Двое за книжкой, появляется муж в образе ангела с мечом и голову с плеч, и оба в аду. Адский ветер, треплющий плоть как сухую листву. Вы и в самом деле хотели быть вместе? Теперь у вас есть шанс проверить свои чувства. Ту-ру-ру, ту-ру-ру, словно листья на ветру. Обжалованию не подлежит, во всяком случае, не в этой жизни. Вердикт: хотя несчастным людям, здесь живущим, к прямому совершенству не прийти, их ждет полное бытие в грядущем. Вот память-то. А на языке оригинала слабо? Так, сейчас...

- Ты не слушаешь?
- Извини, задумалась. Слушаю внимательно.
- Еще кофе?
- Пожалуй, я останусь.
- Что?
- Проверка слуха.
- Вообще-то я понял.
- Вот только вещи заберу. И принесу что-нибудь поесть.
- Лихо. Пойти с тобой?
- Еще не хватало. Я тебе покричу в окно, а ты выйдешь и возьмешь сумку. Не скучай. И разбери пока балкон.

Ого. Ничего себе штурм унд дранг.
Завернула за угол.
По Песчаной прошел трамвай.
Так и будешь стоять?

в море и повсюду

И зачем я села в трамвай. Во-первых, здесь пять минут пешком, а во-вторых — в другую сторону. А наговорила... Что он мог подумать... Другой подумал бы сразу.

Знаю, чем это кончится. Переночую в комнате Марины, а завтра опять пойду по присутственным местам. Может, оно и к лучшему.

И улыбка у тебя дурацкая. Все смотрят, можно сказать, пальцами показывают — вон та девушка едет собирать вещи. Черт возьми, как это здорово. Даже водитель в зеркальце это понимает. Ага, еще скажи — подмигивает. Ой, подмигнул. И вон тот, на остановке. Беги за трамваем. И еще вино и горький-горький шоколад. И черешни. Как раз на Центральной...

Девушка, ну что же вы, стояли-стояли... Надо же заранее, в самом деле...

извините, простите, а ведь могла бы и по ногам пройтись, я же ничегошеньки не соображаю, ни вот столечка, и не вижу ничего, и не слышу

город золотой, голубой
в маленьких квадратах солнца
в море и повсюду
отражение раздвоилось исчезло
и сразу же рядом
вспыхивает и гаснет
каждый угол оживлен
по цепочке бежит впереди
смотри смотри
на том конце улицы уже все известно
сегодня вечером
это произойдет сегодня
ночью

* * *

Не забыть запереть дом.

Побросаю вещи и назад. Одна сумка и одна бутылка. С таким набором на необитаемом острове долго не протянешь.

Есть над чем задуматься.

Вот-вот.

Диана

Яна опаздывала, а между тем ей надо было прийти пораньше. Перед уроком истории предполагалась «пятиминутка», на которой специально назначенный докладчик вводил слушателей в международное положение, это называлось «политинформация». На выходе из положения класс писал «летучку» — тоже своего рода пятиминутку, во время которой каждый мог изложить на бумаге свои соображения относительно темы прошлого урока (мануфактурное производство, паровая машина Уатта, самолет братьев Райт — чем не поделка, ручная работа во всем — от фанерной конструкции до управления ею, а вот напишешь — не поймут, и правильно сделают, меньше надо выпендриваться).

Снегу навалило — страшное дело, почти по пояс (так-то лучше, а то, может, расскажешь им про «Амаркорд»?). Для здешних широт это редкость. Дорожка в школу была робко проложена каким-то молодым и ранним любителем знаний, явно с нашего двора (уж не Замотина ли на шпильках в восемь утра протоптала, хи-хи). По дорожке, сметая бортами снег, шествовала Диана — в ярко-красном пальто и черной шляпке с вуалью. Обойти ее не представлялось никакой возможности.

Диана была *классной*, в смысле — классной руководителем, и по совместительству историчкой. Она была

величественна во всем — начиная от диссертации, защищенной не где-нибудь, а в МГУ, и заканчивая своей корпуленцией. Остановить коня на скаку ей ничего не стоило бы, попадись на дороге такой конь. В лифте она никогда не ездила по причине технического несовершенства оногo. Ее голос, как трубный глас, призывал к ответу, и даже стопроцентные ботаны никогда не были уверены в том, что в конце четверти они войдут-таки в царствие небесное. Она безо всякого стеснения сообщала, что в молодости занималась в балетной школе. Ей было совершенно по барабану, что о ней говорят, потому что никто — даже откровенные циники — не мог не заметить ее *слона* масштаба.

Диана плыла, как ледокол «Арктика» среди торосов, и тропинка становилась дорогой в светлое будущее (интересно, если я все-таки поступлю на истфак, станет ли она хоть чуточку счастливей?). Яна, назначенная на сегодня политинформатором (ну и словечко), должна была прийти хотя бы на пять минут раньше, чтобы ознакомиться с папиной газетой, которая лежала в ее «дипломате», тоже папином, очень старом и даже перевязанном веревочкой, как у настоящего ботана. Из-за этого дипломата все и произошло.

Яна решила на обгон и со словами «Доброе утро, Диана Ефимовна» (а как бы звучало — Афина Ефимовна? — многовато фукающих звуков, несолидно, шепеляво как-то, пусть остается Дианой) нырнула в сутроб. Зацепившись там за какой-то куст, она бесславно растянулась у ног богини охоты, бечевка на чемодане лопнула, и он развалился. Новенькие гелевые ручки повтыкались в снег и превратились в разноцветные флажки (ату его, ату), от конфет остались только дырочки в снегу (зубы будут целей, сказала бы мама), зато парочка потрепанных учебников, рассыпавшись веером, превратились в захватывающую, как говорила Диана, панораму истории Нового времени.

Это стоило бы подстроить, чтобы насладиться зрелищем Клио, переступающей через историю (а заодно через физику). Долой закон всемирного тяготения.

Однако 10-й «б» так и остался без политинформации.

Яна стояла у школы и ела снег. Снег был вкусный. Смешные нежные снежинки таяли на языке. Со стены напротив на нее пялились панковские рожи, намалеванные розовой краской, рядом почему-то — значки переменного-постоянного тока (а, это же «АС/DC», у нас Генка Глушко фанат, он писал, не иначе), еще с десятков ненормативных выражений в адрес какого-то Бугая (ясно, какого Бугаева, — физрука). История шла полным ходом, ее паровоз несся на всех парах к последнему свистку звонку. И тут она увидела И., который переходил через улицу. Это была полная неожиданность. Неужели и он прогулял?

А, да не он один. Из-за угла вырулил Глушко с Мишиным и Нефедовой. Сейчас будут курить и материться. А потом Нефедова подойдет и попросит конфетку — зажевать. Все знают, у кого просить конфетку. Аттракцион «А ну-ка отними». Конфетка осталась одна. Главное дело, не повесит, что нету.

И. остановился возле них, что-то они с Генкой друг другу сказали, поручкались, раздался сиплый Генкин гоготок. И. поставил дипломат на снег (разве что веревочки нет, а раздолбаный не хуже моего). Не курит, надо же. Оригинал.

Потом он увидел Яну. Сделал собеседнику знак типа «до встречи, друг», поднял чемодан и пошел прямо к ней. Рабочая тройка с интересом уставилась на них обоих.

на глазах у всех подошел и сказал

- что ты делаешь, перестань
- он вкусный
- дурочка, простудишься

и начал отряхивать снег — с варежки, с шубки — где это ты так —

потом снял перчатку и холодной ладонью коснулся лица
черные-черные глаза где-то за спиной заиграл патефон
сбился замолчал

— у тебя все лицо мокрое

я плакала но это было вчера а сегодня нет я как-то и забыла о тебе с этим чемоданом потом снова пошел снег

смотрела на его губы страдальческая усмешка и как всегда без шапки дуэлянт

у него перчатки а у меня варежки как у ребенка

дурочка и есть

слезы или снег неужели плакала хочется поцеловать как-жестя так говорят когда не знаешь что дальше

и чемодан в руке такой же нелепый как у меня чемоданное настроение чемоданное объяснение

— ты прогулял историю

— как видишь

— а я и не знала, что ты способен на такое

сказать ей пошлость: ты, дескать, и в самом деле не знаешь, на что я способен

дурочка с переулочка завела светский разговор — ну что за манера острить невпопад

— с сегодняшнего дня я тебе не разрешаю есть снег

это он или мне послышалось звонок трещал над самым ухом из дверей посыпалась малышня нас почтительно обходили

появилась Нефедова и получила свою конфету — беспреступственно

глупости никого не было мы одни

шел снег и мы пошли в школу — это армейский юмор

на урок начальной военной подготовки

учиться перевязывать раны задерживать дыхание и падать на снег

одиннадцать

Сбежала. Испугалась-таки чудовища.

Что будешь делать? Караулить под дверью, разъяснить — ты же сама, твоя идея была. Я тут ни при чем. Я не виноват.

Ты, надо сказать, приложил руку. Показал себя в лучшем свете. Нет, я не Байрон, я другой, и ничего мне вашего не надо. Про Левку зачем-то вспомнил, отелло местного разлива.

Всегда знал, что дружба у них невинная, школьная, а злился. Левка мне все как есть выкладывал, и про киношку, и про коньки, как она его зимой по утрам тащила кататься, а он упирался, и солнце вставало красное, и лед был щербатый, и коньки тупые.

Велено ждать, однако. С другой стороны, польза налицо — теперь можно курить на балконе. Звездами любоваться.

Кажется, это мы уже проходили.

...

— Эй, Ромео.

Это она мне?

— Выходи.

Сейчас весь двор на ноги поднимет.

— Лик его прекрасен. Глаза... глаза... страшно сверкают.

Короче говоря, он ужасен.

— А я и не надеялся.

— Идешь или нет?

— Мне, конечно, говорили, что женщины опаздывают.

Но не на десять же часов.

— Не ворчи, пожалуйста.

Она пришла совсем другая, очень веселая. На лестнице взяла меня под руку и это почему-то насмешило ее еще больше. В конце концов я тоже начал смеяться.

— Что у тебя там?

— Вино.

— За мной еще никто так не ухаживал.

— У тебя хотя бы штопор есть в доме?

— А кто его знает.

— Он еще и непьющий.

— Я практически лишен недостатков.

— Протестую. Плагиат.

— Почему же. Чистая правда.

— Это не ты сказал.

— Конечно, я — ты же сама слышала.

— Знаешь что...

На этой ступеньке она вдруг перестала хохотать и мы поцеловались.

Вот так просто.

трамвай (мне снилось в ту ночь)

он сказал — и не надейся, нас в покое не оставят сколько вокруг любопытных, передайте билетик, пожалуйста

я знаю его улыбку хотя никогда не видела его лица
он улыбается мы оба думаем об одном — темная комната три ступеньки над водой ветки в окно то чего никогда еще не было этой ночью с завязанными глазами огибая неподвижные

в трамвае много людей сосредоточенных зацепившихся за камни чтобы не унесло и нам не выбраться разделенная надвое

вода ты говоришь значит мы еще живы а окружающие смеются им кажется это шутка потому что в трамвае давка и духота как под землей с единственным деревом уходящим вверх

веточки легких корни папоротников неглубоко тихо так легко в толпе в поисках свободного места у окна сама не знаю как это случилось я положила голову ему на грудь и слушала ветер только удивилась что рубашка белая он же не служащий не клерк хотя почему бы и нет он может быть любим он может быть всем

люминесцентный белый жужжание ламп пустые столы следы от чашек ряды мониторов на экранах ступеньками растет индекс сейсмической активности и обваливается вниз и снова растет

автоматическая обработка данных провода идут к огромному телу земли суточные колебания температуры зубцы кардиограммы

ровно как у тебя ровно бьется сердце

что бы ни происходило он всегда уже здесь это к нему я выходила ночью на лестницу с сигаретой в руке он отбирал — не надо непохожий на отца — и все-таки кажется что у него есть дети

из-за стола когда только что было весело и вдруг до полной глухоты одиночество снег

но каждый раз кто-то обнимал меня полные карманы снега полярная шуба он говорил оленья доха клубился пар мы падали в сутроб сириус голубыми иглами пробовал не больно ли нет не больно уже не больно

он всегда был

насмешливо — *твои мужчины* — особенно красивые и высокие пассионарные оторвать и бросить рвать мясо зубами полусырое с запахом пороха и болот жесткое утиное мясо на осенней равнине

помнишь тот октябрь необычайно теплый я думала это предел большего быть не может желтая трава длинные дни его виски черные с проседью граф грэй ему не надо было даже похвалиться своей родословной достаточно взглянуть на руки на сухие губы

все время пересыхали хотелось пить поближе к огню железу преследовать отсекал пути вывешивать флажки и в открытом поле за сто шагов уже знать

у него было необыкновенное острое зрение и каждое живое существо для него было заранее помечено крестиком там где душа

и я стояла в ванной перед зеркалом всматривалась в заплаканное лицо розовое бессмысленно молодое со злостью думала ну и пусть *не доставайся же ты никому* это уже твой голос твой обычный комментарий ты всегда надо мной посмеивался

я хватаю с подзеркальника его жиллет чтобы запустить в тебя но дело сделано вещи собраны а на улице очередной температурный рекорд ранняя весна брызги зелени солнца хрустящий салат горячий хлеб и я в какой-то забегаловке со всеми вещами за стойкой и ты напротив а руки все-таки замерзли но кофе какой здесь кофе

на другом берегу уже в августе некто говорил дай мне поспать я не обгорю не беспокойся иди поплавай и я знала что он не обгорит куда там это хорошая копия бронза тело всех возможных подвигов отдыхающий герой одна часть к девяти согласно канону и локоны которые не берет ни морская вода ни расческа я накрываю ему лоб газеткой и иду вдоль тел и как ты думаешь почему мне смешно

твои мужчины

смейся ведь ничего нельзя поделать это кажется вроденное называется *animus*

но ты же никогда не видела меня — я и сейчас не вижу я
только дышу — жарко

я почему-то думала что это должен быть трамвай
синие молнии петли ремни свисающие с потолка и кроме
нас еще два пассажира и водитель

а это автобус — и пока все не выйдут мы тоже — значит
они жили долго и счастливо и умерли в один день

трамвай едет по Москве а Москва это лес и вот уже
вышли те двое — так и должно быть если долго живешь
на свете

они машут рукой издалека и сворачивают на боковые до-
рожки а я все не могу решиться посмотреть на тебя какой ты
но это воспоминание о том что было единственный раз пока
душа тряслась в автобусе

проехали остановку может быть это экспресс-автобус без
номеров ты заметила нет я не смотрю в окно
я обнимаю тебя я не смотрю в окно

мы еще живы потому что впереди ночь она обещала
единственная ночь когда можно попасть в ту часть горо-
да закрытую освещенную безлюдную два пожилых чело-
века в автобусе это передается только теплом а не глаза в
глаза

теперь когда от нас осталось только излучение войти в
туннель

не бойся тела стали длиннее но теперь солнце проходит
насквозь и можно читать все что здесь мелкими буквами
свернутыми в клетках

лента новостей между пальцев черных от типографского
порошка приглашение кто-то кому-то сообщает рождение
смерть разрушенный дом старое кладбище надгробие два
имени печальный ангел с полустертыми глазами

летим не касаясь земли
неужели ты не видишь я изменилась
я постарела не смотри на меня
ты никогда еще не была такой красивой

земля будет остывать — так и должно быть это зима —
зима? — ты забыла

и солнце войдет в комнату когда я усну когда я умру ты
ведь будешь со мной после когда мы сойдем и там будет что-
то вроде зимнего домика — где всегда ждут гостей но никто
еще не видел хозяина

все подступы скрыты ни одной тропинки нетронутый наст
алые полосы
солнце уходит за горизонт

постель земляника земля нагретая солнцем
я обнимаю тебя пусть это продлится

* * *

перерастая себя
уходит в небо
соцветиями
метелками
сеется в ночь
песчаный ветер
несущий шепот косы
в соснах

полосы тепла
раздвоены как рукава
млечного пути
остывающий песок

на отмели
розовеет

неглубокое
слоистое
дыхание моря

короткая ночь
распалась
между двумя
ударами сердца

на склоне

Я даже помню дату — 2 июля.
Ворвавшись в троллейбус, распугали пассажиров, заняли все места, достали булки с колбасой, начали горланить через головы, вытащили гитару, забренчали «лучше гор могут быть только горы», я бывал там, ты просто не знаешь отец водил каждый год пока мы не выросли стоянка над перевалом называлась Криничка в прошлом высота номер восемнадцать ржавый кораблик памятник героям гражданской ни одного имени тогда это было неважно завидев его мы кричали ура и обнимались а отец говорил — ну вот, добрались значит еще один год садился на рюкзак и закуривал глядя на плато только что был молодой а теперь старик что у него с этим связано не знаю он же не воевал

его тогда вообще не было
но каждый раз становилось грустно
и мы бежали вниз наперегонки
знаешь эти можжевеловые склоны
на которых запросто можно свернуть себе шею

Мы с тобой оказались у заднего окна, пропыленного, битого, притиснутые к поручню толпой, которая набилась в троллейбус на окраине, и уже до самого синего моря. Выбраться отсюда будет затруднительно, сказал я не знаю за чем. Ты не ответила.

Все было ясно и так. От нас старательно отворачивались. Пожилой мужчина, покашливая, упорно глядел в окно, в уголках его глаз собирались мелкие морщинки. Троллейбус весело несся по трассе, наши пели про новый поворот, начинались предгорья, еще полчаса и перевал.

На перевале нас выгрузили и начали учить жизни. Красный маркер туда, синий маркер обратно, сырую воду ни-ни, не отставать, всем немедленно намазаться от комаров и до пяти вечера не снимать головных уборов. Если увижу, что кто-то курит — назначу вечным дежурным по лагерю. Отбой по свистку и никаких перебежек. Девчонки, хихикая, облепили физрука и стали выяснять, кто с кем дежурит и кто в какой палатке ночует. Нефедова лучезарно улыбалась ему, но он был при исполнении. А наштукатуренных лично умою ледяной водой. Когда же мы полезем в гору? Деревня, это называется — совершать восхождение. Завтра, завтра. Все за хворостом. Глушко, тащи вот это полено. Буратино будем делать, товарищ начальник? Сам ты Буратино. Тоже мне, остряки.

На верхнем плато я их просто не узнал. Тихие, все какие-то одинаковые.

Наплывало облако и мы исчезали. Ледяной ветер, белый мох, груды камней. Карстовые пещеры. Ягоды можжевельника в кармане штормовки. Здесь нет воды. И голоса тоже нет.

Мы стояли на краю, на отметке высот, и даже птицы были внизу.

Дальше была целая неделя, о которой мне нечего рассказать.

Ничего не помню.

А потом ты уехала.

* * *

... и так пока не сдвинется земля, и не поплывет в обратную сторону. Спи.

А ты?

А я никогда не сплю.

В открытое окно вой тормозов, знаю этот старенький москвич, который всегда рвет с места в карьер. Звон разбитого стекла на остановке. Дребезжание холодильника. Я перечисляю детали, когда другие пишут «здесь был Вася», уже зная, что и детали не удержат.

Спи, моя золотая медная. Держу тебя, как пес монетку во рту.

Нет ли огнива, служивый. Извини, браток, не могу.

Рука затекла, нет руки.

на склоне
когда нас уже нет
ничто не шелохнется
не изменится
редкие облака

в перевернутых зрачках
моря внизу

мы снова стали
поворотом неба осыпью
мелкими цветами горечавки
тенью ветра тенью самих себя
каменистым плоскогорьем
гребнями тишины

ночь сеет нас заново
море подступает
к запекшимся губам
раненый к раненому
потому что найдут
только вместе

наши тела
пещерные города
крошащиеся от ветра
каменная смола
высолы на щеках
руки корни
на краю обрыва
ягоды кизила
рассеченная бровь
терновник
эхо

на склоне
обнявшись молчим
не замечая
что нас уже нет

солнце уходит

Жарко. Над нами — меловое небо, на потолке — береговая линия, мухи, водомерки, виноградные косточки. Солнце уходит. Два часа дня.

- Хочешь есть?
- Нет.
- Когда-нибудь придется.
- Здесь по утрам разносят молоко. Раз в неделю — картошку и сахар. И, кажется, гречку. Мешками.
- Шутишь?
- Нет.
- Очень может быть.
- Я не привязан к еде.
- А я привязана. Еще как. Можно сказать, жить без нее не могу.
- Только давай не будем вести кулинарные разговоры. Мы не на острове. Дверь, кстати говоря, так и осталась незапертой. Хронически забываю. Зато братец у меня аккуратный — всегда на три оборота.
- Подумать только, какая метафора... С дверью.

Яна, в руках огромный мяч, за ним белый бант. Какой-то праздник, показательные выступления детей перед высоким начальством. Черный купальник, балетные туфельки. Примерно четвертый класс. Потом — только коленка или локоть, стрелка на чулке, ссадина, развязавшийся шнурок. Один раз пришла в школу без юбки (честно говоря, не понимаю, как такое возможно, но с девочками еще не то бывает). Заспанная, снимала пальто за вешалками. Туда же причалила Замотина, долго возилась с пуговицами, потом они глянули друг на друга... Бывает же. Обе пошли домой одеваться, неуд, неуд. Причину прогула объяснить не смогли. Одной простили, другой — родителей в школу. Мамаша Замотиной явилась в юбке

такой длины, которая вполне могла сойти за ее отсутствие. Еще вопросы есть?

Летом, конечно, возможности расширяются. Никогда не ходил с ними на речку. На море — тем более. Бредовые песенки, розы, слезы. Эксперименты в области форм. Владик. Я знал, что тебя никто не тронет.

Улично-подростковый сленг, однако здесь все на месте. Прикосновение к тебе, как к июню. Его никогда не удается удержать в памяти. Белые одуванчики. Высокое небо. Экзамены. Все сходится.

Ну конечно, все сходится: она вертихвостка, он ученый.

Она блондинка, анекдотический персонаж, он, конечно, брюнет. Его снисходительный тон окатывает с ног до головы, и одежда прилипает к телу. Неприятный голос, скрипучий, полное несоответствие лицу. Как я раньше не замечала. И руки холодные. У мужчины должна быть широкая горячая ладонь. То есть ты хочешь сказать, что он не герой-любовник. Но это и так было понятно.

Интересно, когда он в последний раз выходил на улицу? Живет в книжном шкафу, боится солнца, как музейный экспонат. Квартира — его портрет. Кажется, в этом доме ничего не выбрасывают. Память, память. Ни сантиметра на будущее.

Сухой ручей ночь. Просила пить, он налил из-под крана, в этом городе вода из-под крана вкусней не бывает. В детстве, ворвавшись в дом с криком «мама, я на минутку», неслась в ванную, открывала холодную, наливалась как шар... Еще раньше — в саду, на неправдоподобной лужайке, из зеленой крышки чайника, стучалась зубами о край, по краям отколота эмаль. Голубые блики. Он шел со стаканом, спотыкаясь о разбросанные на полу вещи. Незнакомая топография. Отняли все, остался только голос. Никому не интересно, как это устроено. Ночью даже маяк — не более, чем вспышка света.

* * *

- Яичницу.
- А как ты ее готовишь?
- А как ее можно *готовить*?
- Э, не скажи. Тут важно все.
- У меня нет всего. Мы все съели.
- Знаешь что. Я пожалуй выйду на улицу.
- Смелое решение.

Итак:

1. Помидоры «бычье сердце» (вырванные с мясом из груди молодого бычка).
2. Оливковое масло.
3. Лук.
4. Черный хлеб.
5. Красный перец (сладкий).
6. Сыр (сойдет и российский, давайте).
7. Яйца чуть не забыла. И зелень.

Важно: лук и хлеб до золотистой корочки, потом помидоры и перец, только потом яйца и сразу же сыр! — чтобы осталось чуть непрожаренным, и вместе с тем расплавилось, и немножко запеклось, тебе понятно? Нота бене: без вина это не имеет никакого смысла. Или без пива. Могу себе представить его физиономию, заявись я с пивом. Мама: «ну ты же девочка». Что-то в этом роде.

Это грустное, грустное утро

Обязательно прилипнет к исцарапанной чугунной сковородке. Буду отдирать, и потом невнятным комом на тарелку. Что это, Бэрримор? Это то, ради чего я вышла на улицу, и слонялась по рынку, потом по набережным, мимо своего

дома, мимо музыкальной школы — звуки настраиваемого инструмента, как обещание счастья. Пока мы думали, что все впереди, само обещание и было счастьем.

Ты бы сказал — банально.

Но небанальное — боковая ветка судьбы, давно обрезанная за ненужностью. Нет ни тебя, ни меня, и на нашем месте — фантомная боль.

* * *

в голубом воздушном растворе
на куполе парашюта
безмятежно я и ты
смотрим в небо
покачивается на стропях
маятник земля

довоенная мелодия
из бортового приемника
хриплый голос бормочет
не оставляй меня
тонкая струйка
бежит по стеклу
дыхание замерзает
падаем

кружимся
пожелтевшие листовки
разбросаны над лесом
стрекот вертолета
в тумане

дальше и дальше
сколько хватит сил

жить в полосе войны
падая в тайгу
в центр зеленого массива
нетронутого на карте
крестом

скажи прощай
тому кто покинул нас
в воздухе
на земле

* * *

Она плакала и повторяла — больше я туда не пойду. Вымазала слезами рубашку. Розовые пятна по лицу — такое бывает у рыжеволосых. Успокоившись, сразу пустилась в расчеты — чай-кофе, овощи-фрукты (она на картошке сидеть не может). Есть же, например, круглосточные магазины. Есть ларьки и палатки. И можно ходить вдвоем.

Постановили, что все вылазки в город будут ночными. Распечатали последнюю пачку сигарет. Оказывается, она курит. Утверждается, что только в случае экзистенциальной необходимости. Я так и не понял, что это такое, несмотря на подробные объяснения про метафизический сквозняк, другую жизнь, невозможность существования в бессмысленном мире и так далее.

Мы — лишние люди, Яна. Ты же знаешь, читала. У тебя по литературе «пять».

Зачем я сказал ей — ты никогда не будешь счастлива.
Но это правда.

Владик

Надо же, и смотрел прямо в глаза. Сочувствовал.

Яна водила пальцем по стеклу, вместо заветного вензеля получались рожи. Снаружи была жара, счастье было отовсюду, до одури — липы, пчелы, мороженое. Дети искали в крапиве мяч. Женщина в цветастом сарафане несла сумки, из одной торчала свекольная ботва, из другой — батон. На ней были шлепанцы. Двое мальчишек, увидев ее, налетели, выхватили что-то из сумки и с криком «чао-какао» убежали — мяч был уже в игре.

Когда мы были маленькими, нас загоняли домой в девять вечера, а этим все можно.

Вот что было бы самым неуместным в его квартире — дети (особенно голодные).

Я прекрасно была счастлива, и неоднократно. Например. ...утро в университетском парке, первый день новой жизни. Шла по боковой аллее и пела что-то солнечно-наивное — here, there and everywhere — и тебя там не было.

...в поезде, держась за руки, оглушенные — «Дети, вы только что поженились?» — спросила старушка из нашего купе (оказывается, у нас есть соседи). — «Нет еще», — ответила я, и это был не ты.

...на верхнем плато Чатырдага, над невидимым побережьем, над голосами горной трассы, в восходящем потоке бессмертник, тимьян, дикая земляника
и ночью — зимнее небо
только надо мной
но где я сама

Или вот еще.
Владик.

Ты не можешь этого помнить.

Был последний день мая, уроки почему-то отменили, а мы и не думали расходиться.

Сидели на подоконнике, пускали мыльные пузыри. В солнечных коридорах они сталкивались и исчезали, пальцы просвечивали, пахло горячим кофе и молоком, и булочками за семь копеек, за стенкой малышня вразнобой повторяла какие-то стихи. Мы были уже взрослые, конечно.

Развинули шариковые ручки, потому что из них получались отличные трубочки для пускания пузырей. У Владика из кармана белой рубашки торчала пачка «винстона». Пять девочек из восьмого класса смотрели на него, затаив дыхание. Димка обнимал Татьяну, и это тоже было можно, потому что уроки отменили, и мы все были заодно, все.

Я наклонилась над улицей, над школьным двором и на мгновение показалось, что солнце внизу. Увидела дикий виноград, львиные лапы, темную зелень и землю, и кто-то тронул качели, и они потихоньку

— Что ты делаешь

По-моему, он никогда в жизни не выходил из себя. Зубы ослепительные ровные, как зерна

лепестки магнолии восковые

он улыбался он кажется держал меня за талию

— Ты упадешь и все дела

Пять девочек из восьмого класса не имели ничего против, но они знали — никаких шансов, Владик не любит малолеток, даже если я упаду, он им не достанется, никогда.

Олимпиец полубог в том саду итальянском дворике

он две тысячи лет улыбается мне и время ничего не может поделаться с его лицом.

Я засмеялась и перекинула ноги на улицу, сверкнула, как говорят девочки, оттуда, с улицы.

Владик, уверенный в своем олимпийском бессмертии, легко

я даже не поняла как он это сделал

опоры не было

его тело на одну правую руку на мгновение

и снова солнце внизу

и дым и пылинки

он курил дым застревал в волосах он улыбался

мы сидели над итальянским двориком а снизу раздавались крики о помощи

кажется нас зовут сказал Владик

бедная Аида держась за сердце кричала

дети, что вы делаете, я вас прошу, я умоляю

посмотри она сейчас весь педсовет соберет и все они станут на колени

мы с тобой очень красивая пара

держись за сердце

Ты не можешь этого помнить.

Я спрыгнула с подоконника на пол и увидела тебя.

Ты когда-нибудь был счастлив, ты помнишь, как это бывает без причины?

Все, кроме тебя, понимали, что это ничего не значит.

Счастье никому не принадлежать, касаться друг друга как это сделали бы мраморные копии знаменитых оригиналов, если бы Дедалу удалось научить их двигаться —

и ничего

разойтись не заметив

мыльные пузыри

в школьном коридоре

расплавленные солнцем

разойтись улыбнувшись

прохлада каменной галереи

ветер сносит струи воды
два призрака кольца дыма
процессия на гобеленах
нарядные дети гончие
принцесса и дракон
обрученные
и смерть не различит вас
в цветущем саду

Только теперь я заметила эту гримасу.

Я вспомнила, как ты бежал стометровку и твое белое лицо было мертвым от ярости, и Владик давно позади, а он, как-никак *каэмс*, и локти у тебя неканонически прижаты к бокам

это было не по-олимпийски, неспортивная ярость, какая-то нехорошая злость

вот и теперь твое лицо перекошено, как тогда на финише ты не знал, зачем победил, и Владик, смеясь, похлопал тебя по плечу

он был за тебя спокоен, он был рад, ему было все равно.

— Неправда, я знал, что у тебя с ним ничего не было.

А он, не прилагая никаких усилий, сделал тебя, сделал. Ты так жалко выиграл, и твой новый рекорд, и наш физрук, размахивающий секундомером, потный от напряжения, орал на тебя — Ванька, сукин сын, ты побежишь, а не этот пижон, я всегда знал, чтобы завтра оба были на тренировке, спартакиада на носу и пр.

— Я его и там обошел.

Ты его и здесь обошел. Кто такой Владик, где он? А ты — молодой доцент и автор семисотстраничной монографии о народолюбцах, и все семьсот страниц сплошное «милостиво повелеть соизволил».

— Знаешь, про тебя говорили... А я не верил. Про какого-то старшекурсника, не то дипломата, не то экономиста...

Хочешь послушать?

— Ради бога, не надо.

Как хочешь. Я тебя вполне понимаю — вдруг окажется, что ты зря не верил. Что снова ты выше всех. Ты такой высокий, я смотрю на тебя и у меня кружится голова. И хватит курить, тебе это не идет, неправдоподобно. Кстати, мне только что пришло в голову — а ты куришь почему? Помнится, Владик этим даже бравировал.

Я курю, потому что курю.

Я курю, и дым застилает глаза и эту гобеленовую фею. Как я могу не помнить. Рыжие волосы на солнце, белые, розовые, лимонные бабочки в волосах и дым.

двумя случайными структурами

одного события, которое выговаривается через нас. Быть безымянным пронзенным насквозь исполнителем роли, которая меняет актера на полуслове. Быть пригвожденным к картону мужчиной в белой окровавленной рубашке, каждый раз когда я касаюсь ворота твоей

я вижу алый цвет и тепло, волны, и то, что стоит за нами, но это не человек он не дышит, не имеет имени, возраста, только кинжал у него настоящий, гамлет нам выпал шанс сыграть на простой бумаге в июньскую ночь, когда все возможно

твое бледное лицо, в прорезях глаз сквозь маску черная ночь. Ничто из того, что происходит с нами на самом деле, не ска-

жется, не перейдет в слова. *Не быть собой* — полнота этого счастья вытесняет полноту жизни там, снаружи, ведь мы лежим в незашторенной комнате, окна настежь, а под нами на улице ходят и ругаются, и поют подвыпившие опоздавшие, кому нечего делать. Руки под голову, дальний маяк-огонек — ты много куришь — только когда я счастлив. Или несчастлив. Это одно и то же.

приподнимаясь на локте и в прорезях глаз чернота, звезды, пыль, там сразу начинается безвоздушное пространство, а как же душа — а душа это выдумка, нет никакой души, есть прямая слитность всего со всем, рентгеновское излучение любви, от которого бледнеет тело, пройти насквозь и не встретить друг друга, нам говорили, искать надо здесь, теперь мы знаем

эту черную ночь и луну в постели, полную луну на груди
серебристые облака покачиваться как морская трава
и течь как тела текут по ту сторону жизни с закрытыми глазами

называть это наслаждением может только тот, кто не знает, куда вливается тело, на какой оконечности в открытом море смешиваются все воды — откуда ты пришел и с чем — никто не спросит, и только рука в руке, значит, еще немного вместе
параллельные потоки X и кто-то наводит телескоп и говорит — да это здесь

в незашторенной комнате — тридцать лет — как те баснословные люди, что спали в пещере на Сардинии и проспали время — неужели ты никогда не покидал ее — у меня была бессонница — ты курил и мрачно глядел на спящих, ты всегда был байронически настроен по отношению к окружающим — я такой, какой есть — и начисто лишен так называемого чувства юмора — я тебя почти не помню там, какая ты была, осталось что-то волнистое, волосы, когда

ты села рядом, в руках книжка — это был Блок — да — и мне было

четырнадцать лет, самый возраст для Блока — неужели и я — а ты как думал — хотя почему бы и нет — я тебе напомним — мы отмечали начальные строчки и передавали друг другу под партой — значит я был в тебя влюблен — я не знаю — а ты — я не знаю

у всех одинаково

- Почему же мы раньше не говорили...
- Когда — раньше? В школе, на перемене?
- Ну, если ты помнишь, Ленка и Васин отлично объяснялись...
- ...языком жестов, жестами языка.
- Дурак. И не обязательно в школе. Ты мог бы пригласить меня куда-нибудь.
- В кино, например. Билеты на последний сеанс. Ты меня определенно перепутала с Васиным.
- Если бы кто-нибудь из нас оказался более решительным...
- *Хочешь поговорить об этом?*
- Уже нет.
- И слава богу. Не люблю сослагательного наклонения. Все получается единственным образом и никак иначе.
- А если бы я не приехала?
- Опять если. Ты же приехала.

Черт, что я делаю. Заставляю его произносить ключевые слова о любви до гроба. Тогда не сказал, будь добр, скажи теперь. Девушка ждет. Все пунктирные линии сходятся в одной точке: они жили долго и счастливо и умерли в один день.

От голода.

Физическое давление слов, их форма и вес. Слова застревают в горле, голос становится противным, учительским. Кажется, у него тоже так. Досада, которой раньше не было.

Продолжать во что бы то ни стало по принципу, кто первый начал.

— Все-таки мне хотелось бы знать, какой ты был, думал ли обо мне.

— Я вообще ни о чем не думал. Мне было некогда, я читал.

— Ну да, и у нас с тобой равным счетом ничего...

— Именно.

Ничего, которого не было, вызывает нечто вроде жалости. О нем лучше не упоминать, иначе попадешь в дурацкое положение. Впрочем, я давным-давно сжился с ролью идиота. С самого детства.

Ты хотела знать, каким я был. Пожалуйста.

Маленький князь Мышкин. Щелкунчик, урод с подвязанной челюстью и игрушечной сабелькой. Мокрые варежки, шапка, туго затянутая под подбородком, пальто в клеточку, одинаковые дети, одинаковые книжки, а кажется, что это было только у тебя. Мама что-то спрашивает, а ты стоишь в дверях, тебе восемь, двенадцать, двадцать, но ничего не меняется. На вешалке — то же серое безразмерное неопределенного покроя. Бутерброды в портфеле. Трамвай десятый номер. Двадцать великовозрастных девиц, слушающих лекции о. Арифметика без потерь, аккуратное сложение, стопочкой. Вычитания нет.

(Придумал новую сентенцию, тебе понравится.)

Память, конечно, не воск. Она больше похожа на стекло, само по себе невидимое. Мы замечаем только царапины.

Вокруг некоторых имен и дат образуются идеально ровные пулевые отверстия. Память идет трещинками, одиночные звездчатые нейроны сплетаются в сеть, которая способна удерживать все остальное, пока под ней крошится и выветривается

предметное стекло

на нем кое-как окрашенный препарат

(кажется, кожа лука)

так вот, откуда слезы

или мы все-таки столкнулись лбами и засмеялись

нет, это исключено

я, наверное, криво улыбнулся

она, наверное, потрогала лоб

удивленно, как будто на нем появилась треугольная печать или маленькие рожки

мы съели волшебные ягоды и теперь на нас будут показывать пальцами

два любителя ботаники, которым заняться больше нечем, пока весь класс едет на каникулы в город Киев, и два тракториста, напившихся пива в плацкартном вагоне, и волшебное слово «гостиница»

два медалиста (без пяти минут), которые вынуждены отдуваться за честь школы на олимпиаде по биологии (с какой стати?! — а кому ж еще, сказала Зоя, захлопнув журнал, пойдете оба, вместе веселей)

и еще один раз, на катке

по правилу сложения скоростей

схватились друг за друга чтобы не упасть

со стороны наверное могло показаться

во всяком случае мне показалось

что это было именно так

Сон десятилетней давности, который нашел меня только сегодня. Я схватился за тебя и сразу же отпустил. Щепка,

попавшая в водоворот, наконец-то выбралась из него и поплыла по течению.

Далее: о чем я думал в школьные годы.

Я всегда был нормальным, что бы там ни говорили. Курил, прогуливал, выражался, как и все прочие. Не пил, правда, хотя это было бы в порядке вещей, но ведь и на солнце есть пятна. Позиция *оригинала*, которую я как будто занимал, не содержала в себе ничего оригинального; по большому счету она была анонимной и предоставляла массу преимуществ. Я острил и умничал, но на моем месте так поступил бы каждый (знакомый речевой оборот?). При этом мое другое «я», обращенное к тебе, было немым по определению. Видеть тебя я не стремился, безысходности тоже не чувствовал, разве что мне пришлось бы объясняться на тему первой любви, вот тогда. Но никто этого и не требовал.

я был неразговорчив, меня называли скрытным
я стремился к уединению, меня обвиняли в высокомерии
все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было

такова была моя участь с самого детства
помнится, мне пришлось выучить это наизусть
впрочем, как и всем остальным

Твое присутствие меня мало изменило. Параллельные потоки — и ни малейшей попытки добиться слияния душ. Все происходило в нас и ничего — между. И это было источником счастья, добавил он и закашлялся, поперхнувшись высоким штилем.

Все-таки слово «счастье» отталкивает, даже когда говоришь про себя, а ведь оно ни в чем не виновато. Как и любое другое слово, оно предназначено для широкого круга пользователей. Чтобы быть всеобщим, оно должно быть пустым.

Мы приходим, видим пустое место и говорим — нет, так нельзя, человек — это звучит гордо. И начинаем выгораживать себе какой-то особый смысл. Стараемся не замечать постоянного сквозняка, несмотря на то, что дует изо всех щелей. Но когда наступает март, и улицы плывут, и фонари отражаются в лужах — это происходит у всех одинаково. И называется одинаково.

Ты как хочешь, но я больше не могу говорить о школе.

Во сне у меня было два разных глаза — голубой и зеленый, и ты двигалась в расщепленном свете, отбрасывая две тени, которые иногда сходились, но не смешивались. Воздух между нами наполнился влагой, я видел твое лицо сквозь водяную линзу так ясно, так близко, словно я только что умер на скамейке запасных и сам этого не заметил. Лед подтаял, на островке грязной земли показалась прошлогодняя футбольная трава. Мокрые шнурки не развязывались, по лезвию пошла ржавчина, свободное пространство уменьшалось на глазах, стоило ли вообще выходить на лед? Мы оба знали, что это в последний раз. Начинается весна, в которой для нас не будет места.

экватор

Комната со сферическими углами, закрытые двери, пыль.

Запечатаны, сброшены в море, не хочется разговаривать, даже смотреть друг на друга не нужно, ты везде. Зачеркнуть и начать сначала, обгоняя течение, чтобы история была наготове, когда нас освободят

выведут под руки
у обоих совершенно седые волосы
нет, это только кажется

соль и солнце
он и она, имена давно осыпались
два бумажных человечка
которых еще нужно одеть накормить
и научить жить заново

Выйти из дома, закупить всякой всячины, пива, если хочешь, взять с собой пару книжек, которые, ясное дело, никто читать не будет, сесть в троллейбус, доехать до конечной, найти маленькую бухточку, там все это съесть, положить книжку под голову и уснуть. Кроме шуток. Сочинение на тему «как я провел самый счастливый день своей жизни». Я просто хотел себе представить, как это могло быть с нами другими. И не смог.

* * *

- Не понимаю, как тебя выносят твои родственники.
- Они привыкли.
- А у меня что-то не получается.
- Поживи тут с мое.
- Это предложение?
- Да.
- И не подумаю.
- А что так?
- А так. Ты зануда и мизантроп.
- Понятно. Это я еще в форме, в своем уме. А стану старым — что тогда?
- Не хочу тебя огорчать, но вряд ли ты сильно изменишься.
- Э, не скажи. Истинная природа человека видна только в старости, это Аристотель придумал, не я, не надо морщиться. Моя бабушка, например, после восьмидесяти лет внезапно сделалась клептоманкой. Воровала чайные ложки.

Когда она умерла, мы вытрясли у нее из матраса целую скобяную лавку. Так что у меня наследственность не очень. Я стану гнусным таким старикашкой, чистеньким и абсолютно сумасшедшим. А ты, скорее всего, будешь *страшно разочарована*. В отместку за бесцельно прожитые годы начнешь тиранить окружающих однообразными и не очень правдивыми историями про бурную молодость. Каждый день одно и то же, слово в слово.

— Весьма правдоподобно, даже слезу вышибает. Так и вижу тебя с клюкой и авоськой, полной пивных бутылок.

— Я рад, что тебе нравится сценарий.

— Однако хочу заметить, что ты передергиваешь. Возьмем, к примеру, Аристотеля. Он вообще-то утверждал, что истинная природа человека видна в возрасте акме, то есть в нашем с тобой возрасте. О счастье же, действительно, можно судить только за полную жизнь. Если предположить, что мы оба к гениям не относимся и в 37 лет не умрем — говори за себя — ой, извини, пожалуйста, я и забыла, что ты собираешься переплюнуть Тойнби — ага, и тебя зацепило, как я погляжу, — я на тебя не сержусь, честно, я давно ждала чего-то в этом роде.

— Ну вот, дождалась.

— И что, по-твоему, мне теперь делать?

— Не знаю. Впрочем, у меня появилась гениальная мысль.

— Неужели.

— Пойдем погуляем.

— Ты серьезно? С этими?

— Они тоже люди.

— Эти, в песочнице?

— А что, там вполне удобно.

— Ты тоже будешь на старости лет с ними поддавать.

— Ага, а ты научишься наконец лузгать семечки.

— Размечтался.

— И выходить на улицу в тапках. Здесь все тетki ходят в тапках. Будешь искать меня по песочницам.

— Больно надо.

— Останешься со мной — ничего другого не будет.

— Ничего не будет и так.

— Ладно, сиди тут, а я пошел за сигаретами. У нас даже бычков не осталось, в доме чистота. Сразу видно, женщина завелась.

— Это вши заводятся, а женщины появляются и исчезают.

— Ну теперь-то я знаю разницу. Вставай, пошли. Только не исчезай по дороге. Кто вас, женщин, разберет.

И.т.д., и.т.п. Слово в слово, и никто не помнит, что вчера говорилось ровно то же самое. Стоит ли в таком случае бояться старости.

давно пересекли экватор
все дальше на юг
карты закончились ориентиров нет
необитаемое море
первооткрыватель заплатит жизнью
даже если доберется до берега
его сразу же съедят

представь себе — мы вышли на улицу
покинули нашу комнату, кухню, потом закрыли дверь
и влились в ряды потребителей пива балтика
сушеные осьминоги, кольца кальмаров, хорошая порция
йода

плавники акул, кожа, содранная с солью
у потерпевших крушение
на плоту нет ни воды ни сна
даже горизонта нет
настолько сужено наше представление о счастье

прозрачное сердце полное морской воды
древнее зеленое беспозвоночное сердце

прошлое сошло как чернила
омытая морем моя душа была как стекло
и чей-то ребенок смотрел сквозь него на небо
зеленое солнце там где мы лежали связанные по рукам и ногам

пока над нами собирались дети-рыбы не сумевшие родиться на свет

водяной столб уходил вверх спасатели шарили по дну
солнце как лунатик с закрытыми глазами по комнате от стола к кровати

слабые анемичные страдаем от перепада глубин — слишком быстро

слишком мало на нас давит здешняя жизнь
хватая воздух ртом хотим сберечь
а потом это окажется горстью обыкновенного песка

там на глубине — я только и успел сказать
смотри

любовь сон тело
три слова три ключа
возьмись за любой и поверни
лицом к себе
возьми за плечи встряхни
бей по щекам кричи
как будто у тебя есть на это право
потому что скорая все равно не приедет
у нее на небе много дел
вызовы по несуществующим адресам
где ты говоришь твой дом

крепче этого сна нет ничего
крепче этой просроченной любви
чтобы держала как соль как наст
там где мы живем
никто не услышит

возьми на руки плачь
ее тело легче чем я думал
как ты теперь будешь
приводить ее в чувство
рвать форточку крича чтобы те
на небесной скорой отключили сирену

отойдите я сам
ничего, она скоро откроет глаза
встанет с постели и пойдет на кухню
сядет за стол еще ничего не подозревая
на нем две чашки пепельница
банка растворимого кофе
следы кораблекрушения
на безлюдном берегу

восемь минут

Снаружи оказалось не так уж плохо.
Совершенно не хочется спать, а тебе?

Купили крепленого вина, другого не было, шатались по улицам, по окраинам, лежали в траве, сверху сыпались звезды, прожигая до самой земли, в траве светились маленькие существа, похожие на тех, что в небе.

Заходили в незнакомые подъезды. Все лестницы разные, ни одна не повторяется. На крышах — голуби, коты, пив-

ные бутылки, окурки — все, о чем ты мечтала. Смейся, смейся. Вот так бы в шестнадцать лет. И чтобы никто не интересовался, где ты провел ночь. И чтобы я ее провел, а не проспал.

Мир был круглым, отражался в себе, смотрел фасетками звезд, глазами анонимных наблюдателей, в каждой точке едва заметное смещение
земля поворачивается
голова кружится — у тебя тоже? — а ты как думала
от счастья, от количества выпитого или движения мате-риков, все версии одинаково хороши, когда два человека напиваются в хлам
разноцветный как кошачьи глаза
много ли ты видела кошек с разноцветными глазами
по-моему других и не бывает

Запомнить тебя таким, немного смертным, немного бессмертным, первого больше. Такими люди обычно снятся, а не живут. Измененные черты лица — смерть и любовь.

Я скорее узнала бы тебя во сне, чем на улице. Я говорю бессвязно. Слова выходят из-под земли, сростишься корнями, и это освобождает
освобождает нас друг от друга.

Пойми, это медицинский факт.

Так бывает. Человек приходит в себя, улыбается, пьет бульон. Интересуется новостями. Просит принести что-нибудь. Вокруг начинают думать, что с ним теперь все в порядке.

Так бывает в августе. Посреди жары, зелени — ясное, пронзительное, холодное солнце. Всей моей любви не хватает чтобы

ты что-нибудь понимаешь?
два человека, двадцать лет, это не складывается и не умножается
думают друг о друге непрерывно, не было ни дня
и вот получается, что теперь, когда никаких препятствий,
они дальше друг от друга, чем когда-либо

А что, если подойти к вопросу трезво, с практической стороны.

Например, один из моих многочисленных родственников в семьдесят лет развелся и женился на молодой. Ей было всего-то пятьдесят. А в восемьдесят развелся снова и женился на своей старой бабке. Значит, можно. Любви все возрасты покорны.

Начать сначала и все такое.
(у тебя есть родственники на все случаи жизни)

но ведь дело в другом
всей моей любви не хватает, чтобы это стало началом

Я совершенно тебя не знаю. Не помню.
Вот, закрываю глаза и не могу сказать, какая ты.
Ты обиделась?
Нет. Я себя тоже вспомнить не могу. Ну и что.

Послушать нас со стороны — полный бред. И тем не менее все понятно.

Он любит ее, она любит его. Вместе тесно, врозь скучно.
Что еще люди говорят в подобных случаях?

Мне кажется, мы оба боимся протрезветь. Голодаем, чтобы уничтожить все вещественные доказательства. Обнаженное я и ты, сердцевина дерева. *Против жизни*. Как странно, что мы заточены против жизни, с самого детства. Жизнь,

как встречный ветер, все быстро выгорает, становится явным. Десятилетние дети знают, что продолжения нет. Конечно, истории о молчаливых подростках не редкость. Потом это проходит, перерастает себя. А у нас?

в своей комнате, за столом
на листке в линейку
одинаковый наклон
буква еще буква
складываясь дают слово
муравьи тащат иголки травинки
получается дом
в доме зажигается свет
я подхожу к окну
ты спишь
твое окно темное
это не в моих силах понимаешь
столько ярости столько нежности
ближе чем когда-либо
к тебе когда ты недосягаема
и я даже не знаю в каком городе и жива ли
представляешь я иногда задавал себе этот вопрос
и поражался его бессмысленности
ведь если с тобой что-то случилось
это еще не самое страшное
ничего бы не изменилось
страшно что ничего не изменится
и теперь только чудо

Ну хорошо, давай не будем. У меня есть домашняя заготовка. На случай, если я опять начну говорить ерунду. Хотел показать тебе кое-что.

Видишь вон ту мелкую звездочку, подслеповатую, у горизонта. Это Сердце Карла, сверхновая. Вспыхнула в день

казни английского короля Карла I. Такие звезды называются визуально-двойными. С земли кажется, что они рядом, но на самом деле между ними огромное расстояние, буквально ничего общего. Прочел вчера в справочнике. Думал поразить твое воображение. Красиво, не так ли.

(этот надтреснутый тон)

как долго мы продержимся если будем молчать
или говорить как сейчас не слушая друг друга
дайте им воды пусть пьют
они много потеряли потери невосполнимы
оставьте их в покое
эти двое все равно не выживут

Я говорю, как твои чертовы герои романов. Послушай меня, ведь я старше на целых три месяца. Забудь ты свою историю про парк, про качели, про чернеющий лес, потому что чернеющий лес это снова пушкин. Скажи что-нибудь заново, пока есть время.

У нас его почти не осталось.

пока нам кажется, что большего быть не может
в эту самую минуту
над нами наклоняется без улыбки
ложится тень или усталость
утренняя синева
мы будем жить долго и счастливо будем молоды
пока солнечный свет летит к земле
примерно восемь минут

я подсчитал насколько нас хватит
если взяться за дело всерьез
мы даже не успеем дойти до дома

зачеркнуто

Откроет дверь и спросит — где ты была.

Нет, не спросит.

Очевидно, что я была дома. Провела ночь на теткинском диване

Привела в порядок квартиру, собрала вещи.

Конечно, хотелось бы услышать в свой адрес что-то анекдотическое, вроде «где ты была» или «как ты могла». Но такие, как он, обычно молчат.

Не обида, а нечто вроде несовместимости с жизнью. Воображаемая история, мнимые диалоги, несуществующие улыбки. Один отвечает, заранее зная, что скажет другой. За исключением того разговора на лестнице, когда слова были не нужны.

Но они и не прозвучали как слова. Мычание. Хлопок откупоренной бутылки. Дребезжание старого холодильника. Все лучше, чем это невыносимое желание прорваться сквозь историю о двух подростках.

Двое в парке, мальчик и девочка. Молчат, не держатся за руки, не смотрят друг на друга. Гипсовые пионер и пионерка, краска потрескалась, прутики вместо рук. Дождь, снег, снова дождь.

Не стоило даже подниматься по лестнице. Тем более — давать имена, подделывать акцент, запирается в квартире. Не нужно было ничего спрашивать. Ты все равно бы не ответил.

Я выхожу из дома, некоторое время стою в *нашем* дворе, потом поднимаю голову и смотрю на окно третьего этажа. На балконе смурной, неприятный, прокуренный мужчина

лет сорока, холостой, без чувства юмора и без детей — чем не начало брачного объявления. Над нами холодное августовское небо, пустое, разрезанное надвое белым следом самолета, на до и после.

Здесь я должна была написать о городе, о его парках, скверах, скамейках, о трамвайных линиях, где каждое «о» обозначает вдох. Но у этой повести нет продолжения.

Немолодой доцент, автор шестисотстраничной монографии о народолюбцах.

Это все.

(Отчаянная история, в сущности, очень несложная.

А все потому, что у твоей Яны просто нет своего голоса.

В школе учат иметь собственное мнение. Ты можешь быть круглым дураком, но собственное мнение иметь обязан. А она так и не обзавелась. У нее вообще нет характера.

Э-ээ. Да ты, кажется, на нее злишься.

Конечно. Потому что она обыкновенная. Нор-маль-на-я. В ней нет ничего сверх. Все, что он ей говорит, — впустую.

Ах так. Ну тогда скажи ты. Да, скажи ты. Все, что ты хочешь сказать ему. Другого шанса не будет.)

Скажу, если получится. Ведь до сих пор не получалось.

Я затеяла все это для того, чтобы.

Может быть, хотела разозлить тебя хорошенько?

Я не имела права говорить за тебя, но кто мог бы?

Двадцать лет. Встретились один раз. Твоя комната точно такая, как сказано выше.

Родственников почти не помню, пришлось сочинять. Не сердись.

А ты получился резонером. Это тоже нарочно.

Есть и другие неувязки.

Например, ты не стал бы рассуждать о смысле слова «счастье».

И про каток — заметил? В нашем городе не было катка.

Владик стал толстым. У него дети.

У меня тоже.

Он живет на другом конце города.

Мы иногда встречаемся, водим детей в парк. Они не верят, что раньше мороженое было вкусней. Им нравится то мороженое, которое есть.

Пожалуйста, не молчи.

Все пошло наперекосяк, когда началась выдуманная история, про комнату со сферическими углами. Но ведь только в ней мы могли встретиться.

А потом пришлось выгнать нас на улицу. Там ты снова говорил ерунду.

Пока мой голос не упал совсем, скажу самое главное.

Все двадцать лет. Не было ни дня.

Иногда я вижу тебя во сне.

Хорошо, что это бывает редко, потому что потом надо приходиться в себя.

Медицинский факт.

Во сне ты другой. Решительный. У тебя открытое лицо.

Но здесь решимость ни о чем не говорит и никому не помогает.

Будь со мной, пока я это пишу.